

ЦѢНА 50 фэн.

ЮБИЛЕЙНЫЙ

НОМЕР

1935
10
10
10

ЗАРЯ

ЛЕТ

Х

ХАРБИН

ДЕКАБРЬ

1935 год

А. В. АМФИТЕАТРОВ.

ВЛАС ДОРОШЕВИЧ.

Свою статью для нашего юбилейного сборника маститый А. В. Амфитеатров посвящает Власу Дорошевичу, чье имя было не только широко известно всей читающей России, но еще и тесно связано с работой покойного основателя «Заря» М. Локбича, сотрудничавшего в московском «Русском Слове» под прямым руководством В. Дорошевича.

Сколько раз ни собирался я написать обстоятельно и подробно о Власе Михайловиче Дорошевиче, никогда мне выполнить это благое намерение не удавалось.

Только что распишусь, — нѣтъ, брат, стой! уж непременно попритчится что нибудь такое, что приостановит рассказ долгим перерывом, а в длительности перерыва, глядь, погасла или потускнѣла и потребность рассказывать.

Боюсь, что не успѣю в своем плане и теперь.

Времена мы переживаем уж очень подвижныя и тяжкія.

С каждым днем событія грозной важности рушатся на наше вниманіе, как лавина, наѣзжают, как танки-гусеницы.

Ну, и — гдѣ проползло этакое вѣское сегодня, там гладко, — забыты вчера и третьеводни, не осталось от них ничего, и нѣтъ к ним интереса в людях, суетящихся в сумятицѣ настоящаго, воображая, будто они строят будущее.

Между тѣм сложить повѣсть о Дорошевиче — не только мое живѣйшее желаніе, но и, собственно говоря, мой непремѣнный, обязательный долг.

Потому что едва ли в исторіи русской журналистики найдется другая

двоица писателей, так тѣсно связанных между собою и личною дружбою, и сотрудничеством, как были мы с



АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ АМФИТЕАТРОВ.

Власом в теченіе слишком двух десятилѣтій «конца вѣка».

В этом періодѣ едва ли кто либо

был ближе с Власом, чѣм я, и едва ли пред кѣм либо душа его открывалась вширь и вглубь охотнѣе и прозрачнѣе, чѣм предо мною. И ни личная, ни литературная дружба наша никогда не прекращалась: еще двадцать лѣтъ надо насчитать, — до самой кончины Власа в 1922-м году.

Несмотря ни на даль разстоянія, ни на годы разлуки, которые ставила между нами частыми перегородками, нестро сужденная обоим, бурная жизнь. Ни на старанія разных «добрых друзей», которым почему либо было не по сердцу согласное житіе двух дѣятельных и успѣшных журналистов, испортить наши отношенія нашептываніем ревнивых подозрѣній, профессиональной зависти и т. п. Ни в его, ни в моей натурѣ, при всей безпокойности наших характеров и живости темпераментов, не было склонности к «интригам». Да и причин к ним мы не имѣли. А нашептываемые «поводы» презирали.

Со своей стороны, могу с убѣжденіем сказать, что не только нашептам, но и прямым обвиненіям против Дорошевича я никогда не давал ни малѣйшей вѣры. Имѣю много свидѣтельств, что так же поступал и он. Если же чѣей либо клеветнической злобѣ (обыкновенно женской) удавалось за-

мутить его душу сомнѣніями, то достаточно было короткаго прямого разговора, чтобы возстановить истину и благополучно удержать наш совѣстный поѣзд на рельсах.

Так разрѣшилась даже и единственная наша острая, грубая московская ссора, когда нас угораздило (опять таки под дурным женским на него вліяніем, да и — каяться, так уж каяться, — весьма «по пьяному дѣлу») публично переругаться и даже подраться, послѣ чего мы нѣсколько мѣсяцев, — до первой встрѣчи, — избѣгали друг друга.

Но «разрыва» и тогда не было. Помню: за отъѣздом в Италію, я должен был отпустить своего секретаря. Молодой человек, оставшись без мѣста, постучался к Дорошевичу. Влас спрашивает:

— Ваши рекомендаціи?

— Не имѣю. Я служил еще только на одном мѣстѣ.

— У кого?

— У Амфитеатрова.

— И Александр Валентинович был вами доволен?

— Думаю, что да.

— Так никакой другой рекомендаціи вам и не надо. Принимаю вас с особенным удовольствіем. Оставляйтесь. Будем работать. Очень рад.

Парень этот потом состоял при Дорошевичѣ неотлучно много лѣтъ. Влас, по своей добротѣ, и в литературу ввел его отчасти. А, как фактотум по редакціонным порученіям он даже пользовался довольно долго нѣкоторою извѣстностью в литературных кружках Москвы, Петербурга и Одессы.

Трудность для меня писать о Дорошевичѣ заключается в том, что, по нашей с ним, в дни молодости, тѣсной близости, приходится то и дѣло переходить из его біографіи в свою автобіографію, до чего я не охотник.

Вѣдь, шутка сказать, — мы встрѣтились и сдружились, когда каждому из нас еще не было двадцати лѣтъ, а по разным дорогам развела нас судьба (опять подчеркиваю: не нарушив, однако, нашей личной дружбы) сорокалѣтними, в зенитѣ карьеры, мужами!

Литературная жизнь Власа Дорошевича очень четко и опредѣленно дѣлится на пять періодов: московскій подготовительный (мелкое репортерство и работа в юмористических журнальцах); московскій фельетонно-хроникерскій («За день», в «Новостях Дня» и «Московском Листкѣ»), с кратковременным экскурсом в Петербург («Петербургская Газета»); одесскій («Одесскій Листок» и путешествіе на Сахалин); петербургскій (моя «Россія»); и — самый важный и длительный — третій московскій: союз с И. Д. Сытиным и созданіе «Русскаго Слова».

В послѣднем періодѣ Влас мнѣ наименѣе извѣстен. В созданіи им «Русскаго Слова» я не принимал участія. Но вовсе не потому, будто, — как не раз пытались меня увѣрить, — Влас не хотѣлъ впустить меня в газету, опасаясь моего «непомѣрнаго» (как любил он выражаться) темперамента и

своевольства, которыми я, дескать, «погубил» так блистательно преуспѣвавшую «Россію».

Нѣтъ, помогать ему в строительствѣ «Русскаго Слова» я не мог просто потому, что был в это время сперва ссыльным в Сибири и Вологдѣ, а затѣм эмигрантом в Парижѣ.

А что сношенія наши и в этом срокѣ не прекращались и продолжали быть наисердечнѣйшими, — лучшее доказательство, что всѣ мои «Сибирскіе этюды» были напечатаны в «Русском Словѣ» Дорошевича и «С.-Петербургских Вѣдомостях» кн. Эспера Ухтомскаго: единственных двух редакторов, не убоявшихся помѣщать статьи литератора, которому было «запрещено писать».

Мнѣ только пришлось разстаться с старым привычным моим псевдонимом Old Gentleman. Сперва я подписывался — Борус (гора в Саянах, видная снѣжною вершиною из Минусинска, за 270 верст), потом (это уже с 1903 года в «Руси» А. А. Суворина) «Абадона». А, как скоро вырвался за рубеж, в эмиграцію, дал себѣ слово, что впредь никогда не напечатает ни единой псевдонимной строки. И, слава Богу, слово свое тридцать лѣтъ сдержал, отвѣчая за все, что писал, именем и фамиліей.

Воспоминанія о первых четырех періодах Власа Михайловича, я когда то начал было в берлинском «Рульѣ», но остановился, видя, что они разползаются безмѣрно в общую картину московскаго литературно-артистическаго быта восьмидесятих-девяностых годов.

Эпизодически Влас проходит также и в циклѣ моих романов «Концы и Начала» — в «Девятидесятиниках», «Закатѣ стараго вѣка», «Дрогнувшей ночи», «Вчерашних предках». Иногда под собственным именем, портретно, иногда в составѣ сборнаго типа журналиста Сагайдачнаго.

Влас Михайлович не раз говорил, что узналъ меня еще великовозрастным гимназистом в подмосковном сельцѣ Богородском, гдѣ — на плѣнительной Раевской дорогѣ — я покорялъ сердца дачных барышень, вопія аріи из моднаго тогда Рубинштейнова «Демона». Этого я не помню, зато помню очень живо нашу первую встрѣчу, года два-три спустя, в редакціи «Будильника» на Тверской, в домѣ Малкіеля.

«Будильник» в эти годы издавал (да, собственно говоря, уже и редактировал) В. Д. Левинскій, а редактором (больше уже номинальным) продолжал еще слыть А. Д. Курепин, очень образованный литератор, с хорошим и доброжелательным критическим чутьем и вкусом, имѣвшій право гордиться тѣм, что это он «открылъ Антона Чехова».

Чехов, а вскорѣ за ним я вошли в редакцію «Будильника» раньше, чѣм журнал перешел из артельнаго предпріятія в собственность В. Д. Левинскаго, который превратил его из органа, хорошо ли, худо ли, сатирическаго в орган, как опредѣлялъ сам издатель, «семейнаго смѣха»: вродѣ берлинских «Fliegende Blätter», только еще добродушнѣе, смиреннѣе, прѣстѣе. Вѣроятно, немногим юмористам случалось слы-

хоть от своих редакторов и издателей удивительныя увѣщанія, какими ежедневно ошеломялъ нас (в особенности В. М. Дорошевича) чудаки Левицскій:

— Добрый мой, вы написали слишком смѣшно. Так нельзя. Это не для нас. Не пишите, батька, смѣшно: это не семейно.

Для того, чтобы потрафлять на такого курьезнаго редактора, надо было обладать веселою покладистостью молодого Дорошевича и его чудовищною производительностью.

По мѣрѣ того, как «Антоша Чехонте» отходил от «Будильника» выростая в Антона Чехова, а меня взманила оперная карьера, Влас дѣлался и сдѣлался мало, что первую скрипкою в оркестрѣ журнальца, но как бы нѣким оркестріоном, замѣняющим цѣлый оркестр.

В каком количествѣ и с какою быстротою плодил он свои лоскутки-рукописки, это... баснословно! Смѣло можно утверждать, что производил второе больше того, что печатал, а печатал — наполняя, под разными псевдонимами, почти весь номер.

И любопытно: то, что Левинскій браковал, как «не семейное» и «слишком смѣшное», Влас никогда не пробовал использовать в другом изданіи, а безжалостно уничтожал, с совершенным равнодушіем жертвуя своими лучшими, остроумнѣйшими придумками. Столько в этом юношѣ кипѣло таланта и смѣха, что он не знал и знать не хотѣлъ экономіи на них. Смѣх из него, что называется, «пѣр».

И какой смѣх! Не «хи-хи-хи» да «ха-ха-ха» шлифованных юмористов с оглядочкою на окружающих, удовлетворены ли они, но «ха-ха-ха» полною грудью, — раскатистое, залихватое и рѣшительно ни с кѣм и ни с чѣм не считавшееся, кромѣ непреодолимаго импульса к смѣху, как скоро видимость ему явилась или чутьем своим он в скрытом угадывал достойное смѣха.

А, так как чутье на смѣхотворъ было в Власѣ развито сверх-чрезвычайно и работало, без преувеличенія можно сказать, денно и нощно, то с чего же бы ему было экономить свой смѣх, раз он чувствовал, что буквально каждая минута приносит ему новыя и новыя смѣхи?

— Язва всероссійскаго зубоскальства! — со злобою звал впоследствии Дорошевича, ненавидѣвшій его, начальник главнаго управленія по дѣлам печати, М. П. Соловьев, с которым, в годы «Россіи», приходилось мнѣ перетрѣвывать объясненія чуть не из-за каждаго Власова фельетона.

«Зубоскальства» в Дорошевичѣ было много.

Может быть, не всегда оно проявлялось умѣстно и было хорошо направлено.

Но трудно сомнѣваться в том, что только этим «зубоскальством», даром легко и смѣшливо принимать жизнь, какія бы страшныя рожи она ни строила, какими бы своими страхами ни пугала, он одолѣвал жуть и мрак своей несчастнѣйшей юности.

Надо знать, кто он, откуда и как возник, чтобы вполне оцѣнить то чу-

до, что, в эпоху чеховских «хмурых людей», он, ровесник Чехову по возрасту и товарищ по литературным начинаниям, не только уцелел от тогдашней эпидемической хмурости (хотя, казалось бы, имела на нее права больше, чем кто либо в чеховском поколении), но, напротив, и сам пошел, и публику свою повел по стезе жизнерадостной бодрости, «не унывающего россиянина».

Несчастье Власова детства — бы-
вает ли?

По фамилии он, как будто малорос-
сийского происхождения, но эта фами-
лия присвоена ему чрез усыновление.

А кто его истинный родитель —
едва ли с уверенностью могла бы на-
звать его мать, Александра Ивановна
Соколова, по московской кличке, Со-
колиха.

Эту талантливую, но грязную жур-
налистку-авантюристку, с темным и по-
чти уголовным кондуитом, впоследствии
сам Влас заклеймил беспощадно клич-
кою «Тетки Урванихи». Этот клеймящий
фельетон многие ритористы ставили Вла-
су в непростимый грех, но кто Соколи-
ху знавал, тот понимает, что эта сквер-
ная баба еще и не такого клейма заслу-
живала.

Родив сына, Соколиха бросила его
на руки чужих людей, к счастью поря-
дочных и дѣтлолюбивых.

Они привязались к ребенку, расти-
ли его бережливо, — Влас Михайло-
вич, взрослым, вспоминал о них с бла-
годарностью любовью. Но из-за «Соко-
лихи» жили, как под Дамокловым ме-
чом, потому что время от времени она
мелодраматически налетала с шантажны-
ми угрозами: «Подайте мне моего ре-
бенка!» — и надо было откупаться от
ее скандалов.

Так было, пока не состоялось за-
конное усыновление.

Вѣчный страх, что вот-вот Власа
опишет родная мать-беззаконница, со-
кратил дни его приемной матери. В фель-
етонах петербургского и третьего мо-
сковского периодов Дорошевич не раз
касался этой автобиографической те-
мы — без имен, но с глубоким чувст-
вом, от полноты накопившего горечью
сердца.

Приемные родители Власа, кажет-
ся, рано умерли. Во всяком случае,
не успели ни дать ему образования, ни
обеспечить его материально.

Мальчик же, на бѣду свою, был
перечур живого темперамента и без-
мѣрно громкого поведения. А потому,
послѣ кочеванія по младшим классам
разных московских среднеучебных за-
ведений, изгоняемый из одного в дру-
гое, Влас разстался с классической на-
учкою в пятом классѣ гимназій.

Затѣм, не знаю какими судьбами,
— очутился буквально на улицѣ, без
помощи и призора, предоставленный
самому себѣ: живи, если хочешь, пи-
тайся, если можешь.

Имѣл в Москвѣ, как будто, род-
ных.

В числѣ их очень извѣстнаго нѣ-
куда профессора-юриста Лешкова.

Но я никогда не слыхал от Власа,
чтобы кто нибудь из этих людей по-
мог ему или хоть поинтересовался им
в тяжкіе годы его отроческаго бѣдо-
ванія. Бросили, как щенка в воду: вы-

плывешь, твое счастье; потонешь, ту-
да и дорога.

Годы и годы провел он в ужаса-
ющей нищетѣ, в быту полубродячем,
полуосѣдом, гдѣ день, гдѣ ночь, ис-
тинным сыном улицы, искушаемый и
закаляемый ея адом. Огонь, воду и
мѣдныя трубы прошел в борьбѣ за су-
ществованіе.

Чего-чего не посмотрѣлся, каких
опытов не вкусил, каких промыслов не
испробовал.

Не тому надо удивляться, что из
уличнаго омута он вынырнул «боге-
мой», а, напротив, тому, что не съѣла
его улица, не спустила на свое невылаз-
ное дно!

Это почти чудесное уцѣленіе —
наилучшее свидѣтельство огромной пра-
вительственной силы, природно заложенной
в этом богато одаренном человѣкѣ, и
продолженной и утвержденной про-
стым религиозным воспитаніем, кото-
рое дошкольно успѣла дать ему при-
емная мать настолько твердо, что оно
не заглохло в бездушной формальной
школѣ семидесятих годов и не зату-
нуло в грязи улицы, смѣнившей шко-
лу.

Лишенный образованія, Дорошевич
был, однако, очень воспитанным моло-
дым человѣком, умѣл держать себя с
тактом во всяком обществѣ при вся-
ких обстоятельствах и, никогда ни к
кому не подлаживаясь, успѣвал отлич-
но со всѣми ладить.

Озлобленный в дѣтствѣ холодом
человѣческим, он не был доверчив к
людям и мало на них полагался, но он
крѣпко вѣровал в Бога (крестился,
бывало, на каждую церковь) и твердо
вѣрил в самого себя.

Эта двусторонняя вѣра и вывезла
его на крутых горках жизни, казалось
бы, предреченной к неизбѣжной поги-
бели.

Дорошевич — поразительный при-
мѣръ спасительнаго самосознанія, свой-
ственнаго очень крупным талантам; ес-
ли талант сам не закапывает себя в
землю, то никаким внѣшним враж-
дебным силам не дано Богом его зако-
пать.

В девятидесятых годах, с нарождені-
ем славы Максима Горькаго, пошла ве-
ликая мода на литераторов-самород-
ков из пролетаріата, вчерашних бося-
ков со дна.

С ними, начиная с самого Горька-
го, носились, как с невидалью: «буре-
вѣстники» новаго, всплывающаго в ли-
тературу, класса.

А, собственно то говоря, новаго в
них, — именно в классовом смыслѣ,
— ровно ничего не было.

Писатель-босяк, возникшій из «люм-
пенпролетаріата», или в него опустив-
шійся, — старинное явленіе в русской
литературѣ, бывалое даже в ея дво-
рянском періодѣ, а в послѣдующем
разночинском так уж и вовсе частое.

Новостью было только то, что
«подмаксики» гордились и похва-
лялись своим вчерашним «люмпенпро-
летаріатством», хвастали синяками от
вчерашних побоев, бахвалились вчераш-
ними униженіями. Тогда как литерато-
ры-пролетаріи предшествовавших по-
колѣній отнюдь не считали босячества
радостью и достопамятным украшеніем
своих біографій, а, напротив, и сами

старались забыть кошмарные искусы
изжитой нищеты, и не находили ниче-
го лестнаго в том, чтобы общество
хранило о ней признательную память.

Я знаю біографіи всѣх извѣстных
«подмаксимков» той эпохи.

Рѣшительно ни один из них, по-
жалуй, и сам Горькій, — не в состоя-
ніи предъявить аттестата на ценз бо-
сяка-самородка с большим правом, чѣм
Влас Дорошевич, которому, однако,
никогда и в голову не приходило обяза-
вестись столь полезным документом
и искать почетнаго гражданства на пе-
тербургской Сѣнной площади или мос-
ковском Хитровом рынкѣ.

Всѣх этих якобы пролетаріев кто
нибудь «находил», «открывал» и затѣм
тянул за уши из грязи в князи.

Дорошевич же — рѣдкостный тип
самородка, обязанаго в своих блестя-
щих достиженіях исключительно само-
му себѣ.

Журналистом он сдѣлался чуть
ли не с четырнадцати лѣтъ, начав с мел-
каго уличнаго репортажа в маленьких
бульварных газетках и с услуг в их ре-
дакціях, конторах и типографіях.

Его первая газетная работа — в
жалкой редакціи жалкой «Русской га-
зеты» нѣкоего Желтова: мальчишес-
ким разсылным и уборщиком без жалова-
нья, за право ночевать в редакціонном
помѣщеніи, на редакторском столѣ, с
«комплектom» вѣсто подушки и с воз-
вращенною «розницею» за простыню и
одѣяло.

А в «свободные часы» (много ли их
было!) Влас «бѣгал по урокам».

Один его ученикъ жил в глубоком
Замоскворѣчьи, другой за Красным
прудом, у Сокольницкой заставы. Еже-
дневно дважды мѣряя это десятиверст-
ное разстояніе молодыми ногами, «пре-
подаватель», чтобы не заснуть на ходу,
развлекался наблюденіем за игривою...
подметкою своих штиблет:

— Ступаю прямо, а она, подлая,
вилъ влѣво. Сбочу ногу влѣво, — под-
метка виляет направо. Сбочу впра-
во, — она налѣво...

Что мог преподавать гимназист,
уволенный из 5-го класса? А все, что
успѣлъ узнать сам до изгнанія. И ду-
маю, что преподавал неплохо.

Особенность Власа Дорошевича:
знал он мало, очень мало, но, что зналъ,
то зналъ очень хорошо, толково и твер-
до.

Из русских писателей огромное
большинство, хотя прекрасно владѣет
русским языком, но пользуется им ин-
стинктивно, без большой заботы об от-
вѣтственности пред госпожею грам-
матикою. Влас в грамматикѣ был смелъ
— в русской, и в латинской (по край-
ней мѣрѣ, в этимологіи); был на-
мѣтлив на хронологію; из катехизиса
рѣзал тексты, по востребованію, безо-
шибочно; и довольно точно цитировал
Цезаря «De bello gallico», и Анаба-
зис Ксенофонта.

В тяжкіе годы ходьбы на виляю-
щих подметках Дорошевичу, конечно,
было не до самообразованія.

Но среди русских самородков и са-
моучек я не встрѣчал человѣка, столь-
ко способнаго к самообразованію.

Развѣ Максим Горькій? Но его са-
мообразованіе всегда было, по пре-
имуществу, книжным и, так сказать,

количественным. О нем можно сказать, как об учителе истории в «Ревизорѣ»: «нахватал свѣдѣній тѣмъ» — и всѣ их втиснул в голову, как в тѣсный амбар, что надо, что не надо, громоздя одно на другое, без системы и с очень мало разборчивою критикою. Поэтому голова Горькаго всегда была, — а, судя по послѣдним его публичным выступлениям, — так и осталась, — очень похожею на энциклопедическій лексикон с перепутанными страницами.

Самообразование Дорошевича, напротив, было, преимущественно, качественным.

Много читать ему было некогда, и читал он сравнительно мало, но, зато, исключительно книги заведомо хорошия и нужныя. Раз обрѣтал такую, вписываясь в нее и высасывая ее до послѣдняго сока, не принимая на вѣру никакого властнаго авторитета, каждое усвояемое положеніе подвергая критическому анализу своего здравомысленнаго ума. Однажды в разговорѣ об авторитетных «предшественниках», которых необходимо или полезно знать современному фельетонисту, Влас высказал мнѣ даже такое мнѣніе, что чрезмѣрно широкое знакомство в этой области для юмориста излишне и даже может быть опасным, так как способно втянуть его в сознательную или подсознательную подражательность и подавить оригинальность: и не замѣтишь мол, как, перестав быть самим собою, вдруг заговоришь каким нибудь Альфонсом Карром или Гейне без пяти минут.

Но едва ли не главным средством Власа к самообразованію были бесѣды со свѣдущими людьми. Недаром же впоследствии он производил такое огромное впечатлѣніе своими политическими интервью! А то вот случай из другой области, совсѣм уже чуждой ему, научной.

Однажды в 1895 году зашел у меня разговор о Дорошевичѣ с знаменитым впоследствии физиком П. Н. Лебедевым, тогда еще ассистентом Бредихина. Лебедев, незнакомый с Дорошевичем, выразился о нем не особенно благосклонно.

Тогда я замѣтил ему, что, сколько слышу, он судит о Дорошевичѣ только по московским буржуазным слухам, безжалостным в изобрѣтеніи сплетни, а, если бы он знал Дорошевича лично, то совершенно перемѣнил бы мнѣніе, так как в том, что он о Дорошевичѣ слышал, на настоящаго Дорошевича нѣтъ ничего похожего.

Разсказы мои очень заинтересовали Петра Николаевича и он просил меня, при случаѣ, познакомить его с Власом Михайловичем. Послѣднему тоже было любопытно, как выразился он: «повидать живого астронома... никогда еще не видал, какіе бывают астрономы». (В то время Лебедев занимался изслѣдованіем о кометах).

Они сошлись у меня в домѣ, на моих именинах, проговорили весь вечер и вмѣстѣ ушли в пятом часу утра. Да еще обстоятельства так сложились, что не попалось им извозчика, и Лебедев проводил Дорошевича пѣшком с Поварской до «Метрополя»: Дорошевич оправлялся тогда от тяжелой болѣзни и был слыш-

ком слаб, чтобы оставлять его идти одного... На завтра Лебедев нарочно заѣхал ко мнѣ — «благодарить за впечатлѣніе»:

— Вы познакомили меня не только с остроумнѣйшим, но и с одним из умнѣйших людей, каких мнѣ случалось встрѣчать. Оригинальнѣйшій человек. Талантыше из него так и лѣзет, а ум — словно клещи: хватает из разговора как раз то, что нужно. Вчера, когда мы шли от вас и говорили о моих кометах, вѣдь я же чувствовал, что он понятія не имѣет о том, что я ему сообщую, — в первый раз слышит. А, между тѣм, каждый вопрос, который он мнѣ задавал, дышал таким умом, до того был мѣтким и кстати, точно он не вѣсть сколько времени над ним продумал... Увѣряю вас, что не у каждого кончалаго студента являются подобные вопросы, если они не подготовлены книгою... Удивительно быстрое соображеніе, удивительно мѣткій прицѣл ума!

Вот этим то «удивительно мѣтким прицѣлом ума» и завоевал Влас свою головокружительную, почти фантастически-успѣшную карьеру. Почти с первых же газетных строчек, необычайно острая наблюдательность, проворство, чутье сенсаций не замедлили замѣтно выдѣлать его, еще мальчика, из ряда даже опытнѣйших газетных хроникеров.

Маленькая, убогая, тусклая, на ладан дышавшая, московская газетка «Новости Дня» Липскерова обрѣла в нем неожиданно свое спасеніе:

— «За день» Дорошевича дѣлает ее наиболѣе ходким и многочитаемым органом московской «чистой» публики (сѣрая, а тѣм паче черная остались непоколебимо вѣрными «Московскому Листку» Пастухова).

И так всегда и повсюду.

Живое, неутомимое и неистощимое, бѣсовски как то веселое, остроуміе и блестящій дар слова, оригинально лаконическаго (он первый ввел в русскую журналистику «короткую строку» Виктора Гюго), быстро дѣлали Дорошевича любимцем публики послѣдовательно в Москвѣ, Одессѣ, Петербургѣ.

Широкою, уже всероссійскую известность дал Дорошевичу путешествіе на каторжный Сахалин и затѣм мастерскія разслѣдованія нѣскольких громких тогда уголовных дѣлъ. Но полный расцвѣтъ успѣха и славы принесла ему газета «Россія», основанная мною в Петербургѣ в 1899 году.

Подобно тому, как, за три года пред тѣм, Влас настоял, чтобы я принялъ участіе в «Одесском Листкѣ», гдѣ он тогда царил, так, при основаніи «Россіи», первым моим дѣлом было вызвать Дорошевича из Одессы и вручить ему carte blanche, как несравненному солисту петербургскаго фельетона. С наслажденіем вспоминаю эти два года совместной работы из дня в день. Увы! Слишком недолгой. 12 января 1902 года «Россія» была закрыта, а я был сослан в Восточную Сибирь.

Дружескія отношенія наши не изменились, но политическіе пути разошлись.

Я послѣ ссылки эмигрировал, он остался при либеральном оппортунизмѣ, вынесенном им из восьмидесяти годов, и основал «Русское Слово». — типичный орган буржуазно-прогрессивной оппозиціи, поставленный на европейскую ногу, с «американскою» информацией.

Успѣх «Русскаго Слова» был громаден, своим распространеніем и влияніем газета охватила из Москвы пол-Россіи. С нею затѣм и был связан триумфальный ход жизни Власа — безсмысленнаго редактора-диктатора «Русскаго Слова» до прекращенія этой газеты большевистскою революціей.

Неукротимый телеграмщик, Дорошевич терпѣть не мог писать письма. Однако, в Минусинскѣ я то и дѣло получал от него писульки — крупным энергическим его почерком с сильными черными нажимами — увѣщавшія все къ одному и тому же: «Пишите, пишите, пишите! Не стѣсняйтесь размѣрами! пишите!» — это точная выписка из одной его цидулки. А на своем «Сахалинѣ», присланном мнѣ в Минусинск, он написал такое «объясненіе в любви», что я эту книгу прятал от знакомых, опасаясь, что кто нибудь, прочитав, скажет с укоризною:

— Ну, знаете, Александр Валентинович, это уж Дорошевич хватил через край! Это вам, голубчик, не по чину!

Теперь эта книга, вмѣстѣ со всею моею проданною библіотекою, у чехов в Прагѣ. Уповаю, что цѣла.

А когда перевели меня из минусинской ссылки в вологодскую, къ Дорошевичу встрѣтил меня на перепутьи, в Москвѣ, на вокзалѣ! «Суровый славянин, он слез не проливал», а тут всего меня излезил! И я увѣрен, ни одна из возлюбленных дам его сердца никогда не была так исцѣлована, как я, мохнатый и бородатый, в сибирской дохѣ. Что тѣм замѣчательнѣе, что ни он, ни я никогда не были охотниками до изъясненія чувств и «телячьих нѣжностей», а къ поцѣлуйным обрядам между друзьями я чувствую рѣшительное отвращеніе.

Рано поутру мнѣ надо было слѣдовать дальше в Вологду, и всю ночь просидѣл мы вдвоем в кабинетѣ «Славянскаго Базара», не замѣтив, какъ бесѣда, полная воспоминаній прошлаго и предположеній о будущем, пролетѣли часы. Ну, и что грѣха таить! Шампанскаго тоже приняли внутрь предостаточно! В Минусинскѣ то я напоился!

Полтора года спустя, моя, жена, при помощи А. А. Столыпина, выхлопотала мнѣ у Лопухина замѣну ссылки «отпуском» за границу.

Я приостановился в Москвѣ, чтобы проститься с отцом, родными и Дорошевичем. А он повез меня на Воробьевы горы — прощально поклониться Москвѣ.

И сидѣли на балконѣ у Крыпкина втроем: Влас, Виктор Александрович Гольцев и я, — смотрѣли через рѣку на Новодѣвичій монастырь и говорили о Чеховѣ, котораго там только что похоронили.

В это время Влас, во главѣ «Русскаго Слова», был уже очень крупною — «всероссійскаго значенія» — силою.

С годами, славою и богатством,

Влас начал отставать от юмористики и как бы стыдиться своих в ней успехов.

Мечтал создать что то серьезное и большое по истории Французской Революции, но не успел, ибо грянула революция русская.

И грянула в такой грозь, в таких диких формах, каких он никак не ожидал и к которым, при всем своем оппортунизме, приспособиться не мог. Равно как не мог, еще того больше, примкнуть и к борцам против них.

Максимум революции, для него приемлемой, был «жирокдизм». Судите же, с каким ужасом увидел он свирепое лицо ленинизма. Да еще глазами уже не бдника, а буржуа-пропретера.

Очень крупные деньги Влас Михайлович зарабатывал уже в «России», но тогда на нем висели долги, накопленные в московские годы, когда он выбивался из бедности еще на грошевых и дурно платимых гонорарах, а положение уже требовало жизни приличной и светской. Да и мужчина он был романтический, и бесконечная его влюбленности обходились ему в копейку.

В «Русском Слове» Дорошевич сразу же был засыпан деньгой и зажил богато.

И чуть-чуть было не одомашнился.

Тогдашняя его супруга, фарсовая артистка, боярыня-красавица, была корошная русская баба-домоводка, — умела окружить Власа комфортом, создать подобие семейного уюта.

Однажды, проездом из Вологды в Питер, я, не желая предъявлять «проходное свидетельство» в гостиницу, ночевал у них и дивился: попал — среди Москвы — в благоустроенный провинциальный помещичий дом, где в хозяйстве — полная чаша, а шикариства ни малейшего.

Не знаю, из-за чего распался этот союз, но, узнав о том, помнится, пожалел. Потому что тогда видел Власа в первый раз устроенным по человечески — так, что обстановка его не напоминала ни номера в отеле, ни уборной кафешантанной певички, ни театрального фойе, ни «гнздышка» модной львицы. В первый и в последний.

Преимница русской боярыни, тоже фарсовая артистка, Власова «погубительница», Ольга Николаевна Миткевич, дама курортного французского шика, с которой он, безумно влюбясь, вступил в законный брак, — существо из экзотических парфюмов и кружев сотканное, — втянула Власа в роскошь желтую и неудобную.

По возвращении моем в Петербург из эмиграции в октябрь 1916 года, я застал Власа в почти дворцовой обстановке (на Каменном острове), но хмурым недовольным.

Мы видались довольно часто, но не интересно. Для меня это была бурная эпоха «Русской Воли», а у Власа тогда пошатнулись отношения с «Русским Словом» и он чуть-чуть было не сошелся с С. М. Проппером для «Биржевых Вѣдомостей».

Он в это время сильно втянулся в общество крупных бюрократов и биржевиков. Даже давал какие то вечера с присутствием посланников, правда, экзотических, но — все же! Скучал он в этом обществе люто.

Да и вообще скучал — жизнью уже скучал.

Оживлялся только тогда, как, бывало, заведешь речь о французской революции.

Все намѣреваясь писать ее историю, он собрал великолѣпную библиотеку по предмету, которая погибла в большевистскую революцию:

— Не от большевиков, а от нераспорядительности или наоборот, черезчур уж приткой распорядительности супруги, использовавшей отъезд Власа Михайловича на юг, чтобы спустить его книжные сокровища за безценок.

В февральскую революцию Дорошевич был почти окрылен, но большевистский октябрь его раздавил. Особенно послѣ ареста, который длился, правда, всего нѣсколько часов, но разбил его больше чѣм много лѣт каторги.

Много видел я в то время панически испуганных людей, но никого в такой мятущейся, самоубийственной тоске, как терзался Дорошевич.

Помню, застал я однажды его, совсем больного, в постели, по которой он катался из стороны в сторону, как зверь, в отчаянии, не находящий мѣста, где дать хоть минутный отдых изнывающему сердцу... Насилу то, на силу его выпроводили на юг.

Большевики отнеслись к Дорошевичу сравнительно мягче, чѣм к другим литераторам его поколѣнія: в провинции ему было позволено читать какія то лекции. В Петербургѣ ему даже удалось было сохранить кое-какую собственность и, если она все-таки погибла, то не по вину большевиков.

Возвращение Власа Михайловича с юга в Петербург — такой «зеленый ужас», такое надругательство над сердцем большого, талантливого, заслуженного и уже очень больного человека, что не хочется рассказывать.

Тэффи в «Воспоминаниях» немножко намекнула, не досказав до конца. Да вряд ли и все знала: вѣдь ее в это время уже не было в Петербургѣ. И я воздержусь.

Скажу только, что, возвратясь внезапно, в ночное время, Влас долго не мог быть впущен в свою квартиру и больше часу сидѣл — больной, в полуобморочѣ — на лѣстницѣ, пока что то там внутри приводилось в пристойный для глаз хозяина порядок.

А на завтра этот знаменитый и богатый человек очутился, нищим и больным, в советском домѣ отдыха на петербургских Островах, — без единого рубля в карманѣ.

Там и застал я его в самом жалком состояніи.

При помощи нѣкоего г. Фельтена, мнѣ удалось хорошо продать тогдашнему эстонскому дипломатическому представителю, Альберту Георгиевичу Оргу, нѣсколько лекцій Власа Михайловича о Французской Революции для ревельскаго издательства «Библиофил». Любезные милліоны или, как тогда говорили, «лимоны» Орга позволили Дорошевичу обойтись на первое время.

Уже в лѣтнія мои посѣщенія, Влас Михайлович производил тяжелое впечатлѣніе конченнаго человека. Трудно соображал, затруднялся в рѣчи. Говорит, что к осени он совсем развалился, так что потерял даже тѣлесную опрят-

ность и сдержанность, чего — при мнѣ — еще не было. Меня он однажды даже довольно далеко проводил по парку дома отдыха, хотя и очень тихим шагом.

Я очень опасался, чтобы большевистские агенты и литературных дѣл сводники, завертѣвшіеся было около больного Власа, не использовали слабость и безпомощность его, чтобы втянуть его в соглашательство, — «попутчиком» большевистской побѣды. Тѣм болѣе, что домашнее давленіе на него в этом направленіи оказывалось несомнѣнно.

Однако, в откровенном и прямом разговорѣ об одной такой попыткѣ, разслабленный Влас выказал столько яснаго пониманія и твердости, что я с радостью убѣдился: пока в этом человекѣ сверкает хоть единая искра его блестящаго ума и профессиональнаго самоотчета, большевикам его в свое сотрудничество не заманить!

А как им хотѣлось этого, явствует из факта, что они, раздобыв («домашними средствами») какой то черновой набросок Дорошевича, не затруднились прибѣгнуть к подлогу: развили этот клочок в якобы «статью» и напечатали за его подписью.

Но поддѣлать Дорошевича не такая то легкая задача!

Подлог был сразу обнаружен, осмѣян в средѣ самих же большевиков и больше не повторялся.

Кромѣ меня, Власа навѣщали Василий Иванович Немирович-Данченко и еще два-три старика.

В концѣ августа я бѣжал из Петербурга в Финляндію.

Дорошевича большевики вскорѣ перемѣстили с Островов в лучшій дом отдыха, кажется, в Осиновую рощу, где обычно поправляли свои нервы советские сановники.

Там он и умер в 1922 году.

Вас. Ив. Немирович-Данченко, выѣхавшій из Петербурга в 1923 году привез в Берлин извѣстіе о смерти Власа, как о давнем уже фактѣ.

Едва ли не он, послѣдним из литературнаго міра, видел Дорошевича в живых.

Но уже в совершенно отупѣлом состояніи. Спросил Василия Ивановича:

— Отчего Амфитеатров меня забыл — давно не был?

— Хватились! Его давно нѣтъ в Петербургѣ. Он в Финляндіи.

— Так что же? Взял бы автомобиль да и приѣхал.

Очевидно, уже совсем утратив представление о времени и обстоятельстве, которые он переживает.

Так мрачно кончилась жизнь самаго веселаго русскаго писателя.

А я, опять прерывая статью о нем, отхожу от его тѣни опять с обидным сознанием, что не успѣл сказать и той доли того, что должен был бы сказать.

Почему? — вот это теперь читателю, я думаю, ясно:

— Дорошевич — тема не для статьи, а для тома воспоминаній, или, того лучше, для романа, — и не маленькаго!

АЛЕКСАНДР АМФИТЕАТРОВ.